

НОВЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
КОД

Мераб Мамардашвили

Беседы о мышлении



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 1/14

ББК 87

М 22

Редактор Елена Мамардашвили

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

В оформлении обложки использована картина
Павла Филонова «Крестьянская семья», 1914

ISBN 978-5-389-15345-5

© Е. М. Мамардашвили, 2018

© Оформление.

ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“, 2018

Издательство АЗБУКА®

От редактора

Представляем издание курса лекций, прочитанных Мерабом Константиновичем Мамардашвили в 1986–1987 гг. в Тбилисском государственном университете. Неизвестно, как именно этот курс лекций назывался в учебном расписании Тбилисского университета, но на каждой из 24 сохранившихся аудиокассет с записями лекций рукой Мераба Константиновича сделана пометка «Б. М.» — «Беседы о мышлении», с указанием номера лекции. Отсюда — название книги (первое издание вышло в 2000 г. под названием «Эстетика мышления»).

В этом коротком вступлении мне хотелось бы поделиться тем, что привлекло мое внимание в 2014 г. во время подготовки к изданию «Психологической топологии пути», а точнее — «Записных книжек» Мераба Константиновича.

В начале лета 1972 г., во время очередного отпуска на море, М. К. делает такую запись: «Читал Пруста (наконец мною вновь открытого): что бы ни говорил этот очарователь и столь близкий мне метафизик, философия или умозрение все-таки, конечно, выше поэзии — если рассматривать их со стороны экзистенциального усилия, овладевающего *целым* жизни и вновь воссоздающего ее уже на своих условиях, со стороны духовного достижения, реализуемого как акт бытия, как событие в нем. В философии это гораздо сложнее и чище. Поэзия (как и всякое искусство) все еще обременена материей (меньше, чем «качества», *sensations*, но все же...), в ней поэтому сильна сторона умения, техники, артистического ремесла, «искусства», являющегося не только со-противлением, но и подспорьем. Успех в этом слое может прикрывать и компенсировать неполный успех в духе, может искупить

его. Раз остается сторона умения, одаренности чувством материи, то кто будет судить победителя-поэта, высекшего по ходу дела из материи непосредственно-художественно (и радостно, игрально) воспринимаемые искры, даже если он духовно всем делом не овладел? В философии он один на один с делом. *Hic Rhodus, hic salta*. Все чисто. Нет никакого умения и, соответственно, — никакого возможного *trompe-d'œil¹*, имеющего *самостоятельное* (и, возможно — от случая к случаю, — великое) значение и ценность в творческих результатах. Все это не в том смысле, что поэт не может быть на той же высоте духа, что и философ, а что поэзия в принципе дает такую возможность промежуточного успеха, частичного успеха в параллельном слое. А философия — нет». Эту запись, которую от лекций отделяет более десяти лет, читатель, безусловно, узнает в начальных пассажах книги.

У другой, более ранней, записи 1972 г., — иная судьба. Запись была сделана в связи с личной историей: «В моем мозгу роились философские миры, и они, конечно, останутся, и я их как-нибудь выстрою, я устою на ногах перед этим проклятым миром и переплавлю его *dreck²*, но теперь в них будет горечь и отчаяние, неизгладимая печать предательства. (...) Опыт неизбежности зла». Слово «*Dreck*» повторится годами позже в «Беседах о мышлении» и снова — в контексте осознания неизбежности зла: «...ощущение, чаще посещающее людей в юношестве, есть необъяснимое и часто убийственное чувство, убийственное сознание необъяснимой хрупкости и абсолютной обреченности на гибель всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Удивительно, что все это прекрасное обязательно гибнет, а *Dreck*, как сказали бы немцы, живет и процветает; то на миг промелькнет и рассеивается, как бы и не было, а это обречено на процветание». Но пророчеству Мераба Константиновича о неизгладимой печали предательства, горечи и отчаяния не суждено будет сбыться: радость мысли, радость понимания станут лейтмотивом «Бесед о мышлении».

Елена Мамардашвили

¹ Техника создания оптических иллюзий (*фр.*).

² Грязь, дрянь, дермо (*нем.*). Хлам, дрянь (*англ.* разговорный).

Беседа первая

Наши беседы можно назвать эстетикой мышления. Искусство — это прежде всего радость, то есть не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно-радостным состоянием человека. Марсель Пруст как-то заметил, что, может быть, критерием истины и таланта в искусстве, в литературе является состояние радости у творца. Состояние радости может быть и у читателя или зрителя. Что это за состояние радости, которое к тому же может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль (та мысль, о которой я хочу с вами беседовать, мысль, в связи с которой вообще возникают вопросы: что это значит? что это за состояния у человека? зачем оно?), безусловно, связана с радостью, иногда с единственной радостью человека.

Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме как получить светлую радость мысли (хотя бы мысли). Можно добавить и другие слова — чаще всего достоинство человека выражается или может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое делаем по принуждению, и часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости, но есть некая точка, в которой мы вопреки всем силам природы или общества можем хотя бы честно думать. И я уверен, что каждый из вас независимо от того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особое состояние, которое человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра, которую можно назвать Божьей искрой. Есть состояние пронзительной, томи-

тельной ясности, отрешенности и ностальгической, острейшей, тоскливой или сладко-тоскливой ясности. В мысли (в том, что я называю мыслью и чего мы пока не знаем) даже беду можно воспринять на звенящей, пронзительной и, как ни странно, радостной ноте. Но что может быть радостным в беде? Только то, что ты мыслишь, то есть сознание твоего сознания. Смешно думать, что, когда тебе больно, можно радоваться именно от этого, — радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто не может отнять у тебя того, что ты видишь (если *видишь*).

Это состояние может испытывать каждый. Но, во-первых, его трудно объяснить, а во-вторых, оно растворено в других состояниях. Такое состояние может возникать в ситуации неразделенной любви, и, испытывая его, мы, естественно, отождествляем это с любовью, не отделяем одно от другого. Тем не менее то, о чем я говорю, есть мысль, а не любовь. Или [такое состояние может возникать тогда,]¹ когда мы с такой же поразительной ясностью можем видеть справедливость. Мы можем видеть двух сцепившихся врагов, режущих друг другу глотки, и знать, что они родные братья, но сами они этого не знают. Ты — знаешь, ты — видишь. Выразить это ты не можешь, так как не можешь свое сознание того, какова природа действий другого человека, навязать этому другому человеку, если он не понимает сам себя, — он не понимает, что тот, кого он ненавидит, на самом деле его брат. Ты ясно видишь со стороны его положение, а он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этой схватки с абсолютной, но недоказуемой ясностью, но ни сам себе не можешь доказать [этую ясность], ни тем более этим сцепившимся в борьбе врагам-братьям, и, более того, не можешь им даже помочь. Но поскольку ты *видишь*, то нота радости все же присутствует — что бы ни случилось, как бы они друг друга ни убивали, куда бы ни покатился мир,

¹ Здесь и далее по тексту книги в квадратные скобки взяты вспомогательные редакторские вставки.

если ты это увидел (то, что называется мыслью, или истиной), этого уже отнять нельзя — это было, это случилось, это необратимо. И может быть, именно с такой необратимой исполненностью и связана эта радость.

Значит, радостью может быть такое чувство необратимой исполненности смысла. К этому приложимо слово «эстетика», а последнее обязательно предполагает нечто чувственное¹, — эстетика неотделима от момента сенсуального, чувственного. Ведь слово имеет свою чувственную материю, оно несет чувственную радость. А краски, цвет? Цвет хотя и несет смысл, но одновременно радует и наши чувства. Мысль в этом плане находится в особом положении. Я прочитаю одно стихотворение Баратынского...

Существуют и происходят очень странные совпадения. (Об этом мне тоже придется говорить, чтобы у вас не было смущения, не возникало бы комплекса неполноценности перед тем, что тема такая высокая, перед высоким делом мышления; чтобы у вас не было сознания, что вы—де ничтожны, а мысль великих мыслителей велика, и вам до нее не достать.) Пока я условно назову это коинциденцией, то есть совпадением. Я хочу сказать: если вы что-нибудь помыслили, это — ваше, даже если кто-то другой это уже говорил и это существует. Конечно, трудно определить критерий, по которому можно отличить помысленное от непомысленного, и пока нам придется остаться на интуитивном уровне; это будет темным вопросом, пока мы не прокрутимся по всем ответвлению этой темы. Так вот, если нечто помыслено вами — оно ваше, даже если это совпадет с мыслью другого человека.

Часто приходится задумываться над этим, когда встречаешься с рассуждениями определенного рода. Например, люди очень любят иерархию — что выше, что ниже; берут бесконечные проблемы: что выше — художественная истина или научная? Искусство или философия? Философия или наука? Чувства или мысль? И тому подобное. Сформировалось такое

¹ Слово «эстетика» происходит от древнегреческого αἴσθησις — чувствование. (Здесь и далее — примечания редактора.)

образное представление, что самая высшая радость и самое высшее состояние человека — это состояние художественное. Это представление предполагает, что у художника, артиста, писателя всегда есть какая-то особая привилегия. Мне же всегда казалось, что у художника есть нечто, что помогает ему и этой помощью делает (условно, конечно, я не пытаюсь устанавливать иерархию) его работу ниже работы мыслителя. Я хочу сказать о такой стороне труда, как удача или неудача. Когда поэт пытается истинно выразить некое состояние, даже если ему не удается до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Этот слой есть сама чувственная материя стиха. Поэтому, если поэт не добился по каким-то причинам полного успеха в слое мысли (поскольку стихотворение тоже мысль), этот неуспех мог быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют, — скажем, какая-либо уникально найденная аллитерация может искупить неполный успех в сути дела, то есть в мысли.

Вот почему, когда я встретил у Пруста рассуждение о том, что поэтическая радость — это высшая радость, я подумал: «Нет, мой милый Пруст, хотя я очень тебя люблю, ты все-таки не прав». Всегда есть этот, так сказать, клапан безопасности, выпускающий пар. Напряжение духа, может быть, оказалось не вполне успешным, но оно, тем не менее, принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции (а стих обязательно есть чувственная конструкция) есть успех и можно хоть чему-то обрадоваться, — чему-то, что не есть радость мысли. Следовательно, тем самым я уже отличаю радость мысли от другой радости, от эстетической радости.

Думая о таких вещах, я оказался в положении, в котором мне представлялось, что я подумал нечто интересное, но в действительности люди уже так думали. Я встретил эту же мысль у Евгения Баратынского. Правда, на мой взгляд, он не совсем законно выделяет среди художников именно художника слова, в отличие от живописца, скульптора или музыканта, у которых большую роль играет чувственная материя, и объявляет его (художника слова) мыслителем. Его стихотворение так и называется, оно обращено к художнику слова, и на Баратынско-

го распространяется мое возражение, которое было обращено к Прусту, — ведь у слова тоже есть материя, а именно о материи идет речь у Баратынского. Стихотворение звучит так:

Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!¹

Возможно вам, как и мне, понравится это словосочетание: «пред тобой (мыслью), как пред нагим мечом». В случае мысли — никаких прикрас, никакой чувственной материи (*Hic Rhodus, hic salta!* — «Здесь Родос, здесь прыгай!») и никакого промежуточного слоя; если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии. В магии можно выиграть, не вполне пройдя всю дорогу, а здесь — «мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная», то есть бледнеют краски земной жизни, ее чувственные оттенки, и тем самым нет возможности самоудовлетворения. Но мы в конце концов собираемся радоваться мысли так же, как мы радуемся искусству, только ведь в радости мысли, в эстетике мысли есть нечто, выделяющее ее из всего другого: «как пред нагим мечом», нагой меч — или все, или ничего.

То, что я говорил о пронзительной ясности, очень похоже на этот «нагой меч». Это — пронзительная, сладко тоскливая ясность при невозможности какого-либо действия, при полной неразрешимости того, что ты видишь; то, что ты видишь в обнаженном, нагом виде, является источником радости именно потому, что оно обнажено. Только вот обнажить это бывает трудно. В юности это состояние обнаженности приходит к нам, как молния, как мгновение, и уходит так же быстро, как пришло, — не всякий потом научается всей своей жизнью и вырабатывает-

¹ Из стихотворения Е. А. Баратынского «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» (1840). См.: *Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы*. М., 2011. С. 25.

мыми «мускулами» расширять это мгновение ясности. Сначала оно дается даром, но расширить и превратить мгновение в устойчивый источник светлой радости мысли — для этого нужен труд. Не всякий может встать на путь этого труда или даже просто решиться, потому что иногда страшно то, что выступает там в обнаженном виде. И тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенсаций, никакого алиби, никаких извинений за то, что мысль в любой данный момент всегда существует, она уже дана в виде своих же собственных симуляков. Слово «симулякр» по-латыни означает «привидение» или «двойник-привидение», то есть нечто подобное действительной вещи, но являющееся лишь привидением и заменяющее эту вещь.

Simulacra modis pallentia miris — «бледный симулякр», тени вещей, которые мы видим. В любой данный момент, когда вы захотите мыслить, эта мысль всегда уже существует в виде своего подобия по той простой причине, что в любой данный момент в языке есть все слова [для ее выражения]. Представьте, что я на секунду встал с этого стула, посмотрел в другую сторону, потом повернулся, снова захотел занять свое место, а там уже сижу я — я такой, какой уже помыслен другими как симулякр. В мире вокруг меня уже есть я. Если вы обратите внимание на символ распятия Христа, то он среди многих других содержит и этот смысл. Иисус Христос — кто он? Христос — человек, делающий чудеса. А поставьте себя на место Христа: у вас есть некое живое, ваше собственное состояние, а оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей; они знают, что вы — Христос, человек, творящий чудеса, исцеляющий и так далее. Ведь в каком-то смысле можно быть распятым и на образе самого себя — в этом смысле в образе распятия Христа содержится некая ирония и насмешливый взгляд по отношению к окружающим. Христос распят на том образе самого себя, каким его видят, каким он должен быть по представлениям верующих христиан.

У кого из нас — разумеется, я не имею в виду такой высокий ранг — в более скромном виде не было этого ощущения: еще до того, как мы испытали некое состояние и смогли его выразить и даже пережить, оно уже существует в виде симулякра,

как если бы мы должны были пережить именно это, а не что-то другое. Кто из нас не испытывал того страшного недоумения, которое всегда окружает всякую нашу попытку нечто помыслить? А в чем состоит недоумение? Оно бывает перед человеком, который употребляет те же слова, которые хотите употребить и вы, ставит вопросы, которые вы не можете отвергнуть, потому что они составлены вполне логично из имеющихся слов, — других слов у нас нет, — и при этом мы испытываем недоумевающее смущение, все время думается: ну не то, что-то не то. А что «не то»? Да просто раз существуют слова, то из них можно создать миллион умных вопросов, и известно, что один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и миллион мудрецов просто потому, что всегда есть все слова, посредством произвольной комбинации которых можно получить симулякр-ответ, то есть тень ответа на любой ваш вопрос. Любое ваше мучение, переживаемое как несомненно очевидное и уникальное для вас и требующее мысленного разрешения, уже существует в ответах. Или, по-другому, — всегда есть вербальный мир, который сам порождает псевдовопросы, псевдопроблемы, псевдомысли, и отличить их от истинной мысли невозможно.

Возьмем, например, пушкинскую фразу: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Как отличить покой от стремления ленивого человека к покою, когда человек говорит «я хочу покоя» или «я стремлюсь к покою»? Ленивый человек хочет покоя. Я десятки раз попадал в такую ситуацию со словом «покой», особенно в контексте русской культуры, которая в определенной степени насыщена довольно сильным комплексом антимещанства. Лишь бы человеку не было хорошо (когда человеку хорошо — это уже по определению плохо: значит, он мещанин). Это можно было бы и далее расшифровывать, но я возвращаюсь к нашей реальной экзистенциальной, жизненной ситуации. Когда вы общаетесь с этими людьми в жизни, разговариваете с ними, то неужели вы не ощущаете бессилия от невозможности пройти между действительной мыслью и ее симулякром?

Самое большее, чего можно хотеть, — это внутренний покой. Чем отличается этот «внутренний покой» от жажды покоя

ленивым человеком или мещанином, успокоившимся на материальном благосостоянии? Как отличать одно от другого и как задавать вопрос? Почему один вопрос умный, а другой — глупый? Само отличие умного от неумного уже было бы актом ума, и если вы актом ума отличаете симулякр от ума, то сам акт, вот такое отличие, вы определить не можете. При этом даже если вам удастся отличить, то, поскольку само отличение — акт ума, определить, дать список критериев, по которым одно отличается от другого, вы не в состоянии.

В курсе лекций о Прусте мне уже приходилось сравнивать его роман, который является записью духовного странствия или мистического путешествия души (странствия души в мире), с дантовским путешествием по Аду. Напомню, что взору Данте предстало знаменитое чудовище обмана, которое он-то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, — невозможно передать другому это увиденное (видимое уникально), потому что уже есть обычные слова, описывающие это зрелище. И проскочить мимо этих слов невозможно, так как всегда есть все слова и есть только те слова, которые есть. Данте чувствует, что если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то это будет уже не то, что он видит. И он вдруг восклицает:

Мы истину, похожую на ложь,
Должны хранить сомнутыми устами...¹

Иначе говоря, он приходит к ситуации молчания. А я хочу выделить ситуацию «истины, похожей на ложь». В то мгновение, когда вы уже почти что сформулировали какую-либо истину, вы вдруг видите, что она похожа на существующую ложь и, если вы ее произнесете, она сольется, совпадет с существующей ложью. Тогда приходится молчать.

Теперь посмотрим, что же у нас получилось? Первое — чувственных радостей мы лишились; если мы собираемся мыслить, нас не выручат промежуточные успехи: нагой меч перед нами. «Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная». Во-вторых, если нам повезет на мысль, то мы оказываемся в мысли вынужденными к молчанию. Ведь в любой данный момент

¹ Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. С. 144.

есть все слова, а из слов составлены симулякры, которые вполне похожи на наше видение. И вот душа начинает кричать, душа становится похожей на движение человека, пораженного пляской святого Витта.

Болезнь внешне выражается в том, что все члены тела — ноги, руки, все, созданное для жеста и движения человека, — приходят сами по себе в движение, причем подчиняясь определенному ритму. Скажем, рука делает жест, затем вторая рука делает жест, за ней нога, и живое человеческое тело превращается в автоматический самодвижущийся механизм. Чтобы передать страдания живого человеческого состояния, в данном случае — мысли, я хочу привести образ. Я прилетел из Москвы в Тбилиси, был солнечный день жаркой, пронзительной, настоящей тбилисской осени. Ожидая, пока привезут багаж, я увидел на газоне около павильона старого человека, он просто стоял на траве и вдруг наклонился, прикоснулся правой рукой к левому колену, сжал его, затем поднес руку к носу, потом сделал какое-то движение рукой, еще раз наклонился и сделал еще какое-то движение. Затем все началось сначала: снова эта рука касается колена, потом носа и так далее. А представьте себе, что внутри этого механизма — живая человеческая душа и она неумолимо совершает все эти движения. Душа совсем этого не желает, это не она, эти движения не движения ее воли, — оказалось, внутри этого механизма, под его скрежетом тоже есть душа. Как же она должна вопить внутри цикла этих вынужденных движений! Припадок длится минут пять и затем проходит, а наступает без предупреждения, в любое время.

А если, например, растянуть [цепь этих движений]? Тогда можно себе представить, что вся наша жизнь есть пляска святого Витта, а наша живая душа кричит внутри последовательности — совершенно абсурдной, нелепой, вынужденной, непрорывольной последовательности каких-то ритуальных движений. Ведь движение в пляске святого Витта имеет совершенно ритуальный рисунок: одно строго следует за другим, рисунок задан и не может быть нарушен. Человек впадает в эту пляску и выйти из нее не может.

Но вот вопрос: на то время, пока он впадает в эту пляску, разве душа перестает существовать? Она же где-то существует — живая душа, живое восприятие. Где? Если мы возьмем

этую метафору, растянем ее и предположим, что такое состояние может длиться не пять минут и не выражаться в виде болезни, а быть всю жизнь якобы говорением — в последовательности слов, якобы переживанием — в последовательности переживаний, якобы деланием — в последовательности дел, то все это может быть пляской святого Витта. Значит, мы знаем, что можем испытывать живое состояние, а в это время место уже занято; я повернулся, а на стуле уже сидит «Я»; я знаю, что это не я, но место занято. А куда мне деться с моей мыслью?

Оказывается, в области мысли, как и в других областях, мы испытываем то, что налаженный механизм мира заранее вытесняет собою и своей глыбой давит любое живое состояние, то есть вытесняет то, что для меня несомненно живое. «Я» несомненно для меня, а ему нет места. И очень часто тем, что называют проблемой самовыражения, или выражения человека, является как раз проблема того, как это выразить. Когда человек называет нечто невыразимым, когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно этому ощущаемому изнутри как несомненно живому нет места в мире действий и выражений (ведь выражения — это тоже действия) — оно уже занято. Рука — моя, я хотел ею двинуть в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляске святого Витта: к колену, потом к носу и так далее.

В свое время люди, которые обосновывали и вырабатывали научный взгляд на вещи, то есть создавали объективную картину мира и основанную на ней науку, в качестве примера явления, с помощью которого мы отличаем научную реальность от того, что нам кажется реальностью, приводили движение Луны на своей орбите. Вы знаете, что одним из актов мышления является сознание, что мысль не властна над реальностью, то есть отличие самого представления от реальности есть акт мысли. И если бы оказался возможным акт остановки моей рукой движения Луны, то это был бы совершенно мистический акт, — человек не может произвольным движением, диктуемым его мыслью, остановить Луну. Так говорят люди, обосновывающие научное мировоззрение.

Однако по ясно оговоренной этими же мыслителями позиции мистичен не только акт остановки рукой движения Луны

на ее орбите, но столь же мистичен и простой акт движения нашей руки. Луну остановить мы не можем, а рукой двигать можем, хотя по природе своей и то и другое одинаково мистично. Вдумайтесь — каким образом я могу мыслью приводить в движение руку? Кто это знает, кто это понимает и кто, если выражаться на псевдонаучном языке, имеет модель этого происшествия? Моя мысль двинула руку — как она могла это сделать? Во-первых, как нечто материальное можно привести в движение, и, во-вторых, как можно мыслью скоординировать столько элементов этого движения? Любой анатом нам расскажет, из скольких элементов состоит всякое сочетание двух мускулов в работе, и, если бы актом мысли все это необходимо было бы делать, это оказалось бы невозможным. Тем не менее некий духовный приказ или мысленный приказ приводит руку в движение — это такая же мистика, как если бы кто-то остановил Солнце или Луну.

То, что я говорю, может быть, кажется пока примером интересным, но не относящимся к тому, о чем я говорил раньше. Но я говорю все о том же *живом*, которое может быть задавлено каким-то механизмом и искать себе выражение. Пока все в порядке, действие, которое мы не можем совершать чистой логикой, а совершают духовным приказом, совершается. Все обстоятельства складываются так, что человек действительно желает двигать рукой и двигает ею. Но представьте себе тот же выразительный акт движения руки, но не все в порядке, причем независимо от нас. Скажем, в пляске святого Витта не все в порядке: руки двигаются, а выражения нет. Более того, мысль предполагает, что в любой данный момент, если она выражается, она расположена на энном числе точек, то есть я говорю, и вы (слушающие) понимаете то, что я говорю, и я понимаю то, что говорю. Это означает простую вещь: мысль одновременно существует и в ваших головах, и в моей голове. Как это происходит, никто не знает, но то, что это происходит, мы об этом узнаем... (...)¹

Вернемся к тому, что у нас есть некое состояние, условно назовем его переживанием. Впоследствии мы будем вести это

¹ Здесь и далее знаком (...) отмечены обрывы аудиозаписи и перерывы в лекциях.

переживание к состоянию мысли, но пока мы не знаем, что такое мысль. Просто назовем это переживаемым нами состоянием, в котором с очевидностью мы живем, и мы убедились, что кроме очевидности того, что мы живые в том, что мы испытываем, есть еще некая ситуация, некоторое сочетание обстоятельств, при котором этому нашему состоянию (или переживанию), с очевидностью переживаемому нами в таком виде, что мы в нем живем, может и не быть места. Вопрос этот, как мы убедились, непростой, он связан с тайной мироздания. Я говорил, что таинственно было бы остановить Луну на орбите рукой, но мы часто не думаем о том, что не менее таинственно то, что мы вообще можем двигать рукой, что может проходить координация элементов, во-первых, слишком многих для нашего ума, во-вторых, несовместимых друг с другом. Материя несовместима с духом. Как дух может двигать материю?

Значит, уже есть тайна — тайна соединения души и тела. Кстати, Декарт в свое время (его, беднягу, часто упрекают в дуализме, которым он как бы разделил мир на две субстанции: мысленную и телесную) предупреждал, что есть нечто, что можно назвать третьей субстанцией, а именно союз, или соединение, тела и души, которое само по себе ниоткуда не выводимо и ни к чему другому не сводимо. Что называть субстанцией, почему мысль называется субстанцией или почему тело называется субстанцией? По одной простой причине: субстанцией мы называем то, что не имеет никакого другого носителя, ни к чему другому не сводимо и является носителем самого себя. Таковой субстанцией является, например, материя. Можно допустить и существование мысленной субстанции. Но есть еще одно нечто, которое есть, но которого не должно было быть. Координация, совпадение наших любовных чувств на любовном свидании есть такое же таинственное соединение, как движение руки, такая же координация многих элементов, к тому же содержащая в себе такие вещи, которые мы не можем заместить или возместить мыслью. Мысль не властна над реальностью, и человек не может включить в такую координацию выдуманный из головы элемент. Если повезет, человек может увидеть сцепление этих обстоятельств в ясном сознании, но

это ясное сознание тоже есть событие в мире, которое нельзя вызвать по нашему произволу.

Из всего, что я говорил, вытекает, что мысль непроизвольна, мысль тоже есть такое явление, которое мы не можем иметь по своему желанию, — нельзя захотеть и помыслить. Мы можем иметь ее лишь как событие в движении, которое завязывает многие нити, — именно движение (а не мы, не наш голый рассудок) завязывает их так, что вдруг событие мысли случается. Такие же нити завязываются, когда случается понимание. Понимание нельзя передать: если вы не понимаете до того, как вам нечего говорится, то говоримое нельзя передать никакими логическими средствами, никакими средствами общения, если до этой передачи мы с вами не связаны каким-то другим способом. А в этом способе уже приходится применять другие понятия и представления.

Например, в таких ситуациях можно говорить: судьба или не судьба. Скажем, тебя не поняли, и ты говоришь: «не судьба», — ты не говоришь, что слушатели не умны, что сам недостаточно хорошо объяснил. Нет, все умные, и все на своем месте — но не получается, «не судьба». Значит, мысль имеет отношение к тому, что мы называем судьбой; более того, фактически, когда мы говорим о мысли, мы говорим о существовании, то есть о чем-то другом, нежели сама мысль, — о бытии. Почему?

Мысль, или живое, не умещается внутри пляски святого Витта, с очевидностью сознает себя живым. Мы очень часто оказываемся в таком положении, что с ясностью говорим о чем-то из нашей жизни, из нашего сознания — «это не жизнь, это не существование». В каком смысле мы это говорим? Человек, находящийся внутри пляски святого Витта, или белка, которая бежит внутри колеса, глядя на свои собственные движения, конечно, скажет: это не жизнь, это не существование. Так и мы, приходя к некоей точке, говорим именно в этом смысле: это не жизнь, это не существование, то есть не моя жизнь, не мое существование. Слово «существование» возникает именно там, где возникает то, что мы пока называем мыслью, а именно живая очевидность чего-то, или живое самоочевидное переживание, которое может быть удачным, а может быть и неудачным, то есть неуместным. Мы можем оказаться неуместными именно

в том, в чем мы есть мы, неуместными подобно женщине, которая целовала своего мужа, держащего в ту минуту поленья, и оказалась неуместна в том, что в ней переживалось как самое лучшее, как самое искреннее и возвышенное — как любовь.

То, что я называл выражением, задавая вопрос, можно ли вообще что-то выразить, что значит выразить справедливость, выразить чувства, связано с существованием, с тем, в чем мы есть или не есть. И (сделаем следующий шаг) это существование стоит в срезе реализации или нереализации. Случилось или не случилось — ведь во мне может что-то происходить, но это происходящее как бы не случилось. У человека, охваченного пляской святого Витта, нечто не случилось; должно быть или собирается быть, но не случилось, не реализовалось. А если человек двинул рукой не в пляске святого Витта, а в осмысленном движении взял трубку, то нечто случилось, — все сошло так, что это случилось, реализовалось. Ведь когда мы взыскиваем справедливости, то чаще всего мы имеем дело со своими собственными состояниями, которые не есть то, чем мы их называем, — они не есть именно по признаку «случилось — не случилось», «реализовалось — не реализовалось», «получило бытие или не получило», «осуществилось или не осуществилось». Скажем, потуга, порыв честности, чести, — он (порыв) психологически может быть несомненен для того, у кого есть этот порыв, но порыв честности — это одно, а честность — это другое. Намерение справедливости есть одно, а справедливость — другое.

Это другое, «пришипленное» к справедливости и чести, обозначим для начала таким словом — «искусство», или «труд». Я хочу сказать, что тогда честность не намерение, а труд, или искусство, — нужно суметь быть честным. Здесь у нас возникает дорога именно к мысли, потому что мы вводим отличие, мы отличаем эмпирически переживаемое состояние от чего-то другого — от действительности; то есть у нас возникает недоверие к эмпирической несомненности неких состояний в нас самих. Например, слабый безмускульный человек испытывает желание добра, но оказывается (поскольку добро — это искусство), что желание оборачивается злом и момент начала мысли состоит уже в том, что человек может сказать себе: добро,

данное эмпирически, то есть в моем несомненном переживании (оно дано в виде желания добра или намерения добра), — это одно, а добро [само по себе] — это другое.

В историческом ходе выработки философской, или мыслительной, терминологии такое отличие обозначилось следующим образом. Скажем, есть эмпирические факты справедливости или добра, а есть добро само по себе или справедливость сама по себе. Это слово, если оно вам встречалось, звучало как абстрактное понятие, наверняка с прибавлением прилагательного «идеалистическое». Якобы существует некий идеальный объект, называемый справедливостью, или объект, имеющий некое идеальное, неэмпирическое существование, или добро само по себе, то есть некий идеальный объект, существующий, скажем, в платоновском мире сам по себе. Эти ассоциации мы должны пока остановить. Почему? Я сказал, что добро отличается от доброго намерения тем, что то, что мы назовем добром самим по себе, связано с целым созвездием терминов: случилось, действительно произошло, реализовалось и так далее. Также оно связано с искусством. В обычном смысле слово «искусство» происходит от искусного делания чего-то. Нужно уметь. Следовательно, недостаточно эмпирически испытывать желание, доброе намерение, но должно быть еще нечто, связанное с добром. Это «еще нечто» мы уже можем назвать «добро само по себе» или «справедливость сама по себе», и наш шаг к нему назвать мысленным шагом, поскольку нечто мыслится в отличие от того, что эмпирически переживается. Намерение добра может эмпирически пережить любой расхлябанный человек, трус переживает храбрость или желание быть храбрым (но он трус), а добро само по себе возникает тогда, когда мы объявляем акт недоверия к факту переживания добра.

Иными словами, мы начинаем понимать, что человек — существо, для которого не существует естественного добра, естественной справедливости, естественной честности, то есть того, что происходило бы просто само собой, фактом его эмпирического испытывания или намерения. В религиозно проработанной, религиозно грамотной европейской культуре эти вещи давно уже отработаны. Собственно, для этого и нужен язык религии, — нужен для того, чтобы отличить человека, стремяще-

гося к добру, от человека доброго, то есть отличить добро как психологическое качество (французы в этих случаях говорят *velleité* — «потуга», то есть потуга добра, изнутри психологически достоверная для человека) от добра [самого по себе].

Так вот, в таких культурах есть отработанный язык, а в инфантильных культурах вроде русской он может появляться гораздо позднее, требовать больших усилий. Это простое различие в русской литературе, славящейся своей совестливостью и человечностью, появляется только у Достоевского, и появляется мучительно. Причем оно уникально, и можно сказать, что русская литература так и прошла мимо Достоевского, не услышала его урок, и сам Достоевский в этом смысле тоже прошел мимо самого себя, «не попал на поезд». Достоевский-мыслитель и Достоевский, реально разыгрывающий эти вещи, то есть Достоевский-феномен, — две разные вещи. Достоевский-мыслитель чаще всего просто систематизатор своих собственных состояний, как правило, он чаще всего просто глуповатый русский националист, а Достоевский-писатель (феномен сам по себе) — это нечто другое.

Его известный роман «Униженные и оскорбленные» в связи со школьными воспоминаниями и критикой Белинского мы воспринимаем как роман, выполняющий традиционную человекозащитническую миссию русской литературы, которая всегда была на стороне угнетенных и обиженных, на стороне бедных и так далее. В действительности же в этом романе происходит полное выворачивание этой традиционной русской литературной позиции (что странным образом оказалось не замеченным многими литературными критиками того времени). Достоевский показывает, в какое зло могут превратиться добрые состояния, если они остаются только естественными, то есть порождаемыми нашим психическим механизмом. С бедностью не связана никакая привилегия: «бедный человек» еще не означает человека, наделенного чувством социальной справедливости в силу своей бедности. За бедностью и нищетой может скрываться большое зло, высокомерие и ненависть к окружающим; более того, существует тип человека, который может наказывать окружающих своей бедностью. Оказывается, желание добра у самых

несомненно добрых людей невольно порождает вокруг такое зло, какое отъявленные злодеи не смогли бы специально сотворить.

Давайте на этом закончим. Я пытался пока описать точки, в которых появляется нечто, что мы будем называть мыслью, или мышлением. Эти точки мы окружили разными словами: координация, естественное — неестественное, реализованное — нереализованное, случилось — не случилось и так далее.

Беседа вторая

Тема наших занятий, как вы знаете, называется в расписании «Эстетика мышления». Я пояснял, что это название хорошо тем, что я попытаюсь своими беседами раскрыть именно эстетику, то есть радость. Ведь художник испытывает радость? Вот и в мышлении есть радость, и эту радость я попытаюсь раскрыть. Чаще всего, как я говорил в прошлый раз, радость мышления — единственно достойное, что нам остается. Это немало; дай бог, чтобы это у нас было.

Так я буду понимать эстетику мышления; кроме того, конечно, я буду показывать то, что обычно ускользает при анализе мышления, — образный, или символический, слой мышления, который составляет саму суть мышления. Слово «символ» я понимаю здесь в несколько особом значении (я не буду это пояснять, мы придем к этому постепенно).

Мне несколько неудобно перед вами и перед самим собой, потому что мне приходится говорить о том, что я сам не могу выразить, то есть о том, что невозможно понять ни слушателю, ни тому, кто об этом говорит. Я говорю о мышлении, а мышление относится к тому, что можно было бы назвать одной из невозможностей. Существуют метафизические невозможности. В строгом смысле мы в таких случаях обычно добавляем некоторые странные слова: латиняне употребляли слово *qua* — «как таковой», — скажем, жизнь как таковая, любовь как таковая, мысль как таковая, человек как таковой. Этот оттенок трудно уловить. Мы видим перед собой человека — что же такое «человек как таковой», если не тот человек, которого мы видим перед собой? Но когда мы хотим высказать некую труд-

ноуловимую мысль, мы добавляем слова «как таковой» или «субстанция как таковая» и так далее. Поскольку я обещал не употреблять никаких специальных философских терминов вроде «субстанция» и прочее, то я все это опускаю, и хочу сказать хотя бы о невозможностях, или о словах «как таковая».

В каком-то смысле человеческая жизнь как таковая относится к числу невозможных вещей. Когда такое говорится, не отрицается, что она есть. Она есть, но это удивительно, потому что она невозможна; непонятно, каким образом она есть, потому что ее не должно было быть. Не может быть, что она есть. Вы представьте себе, сколько разных вещей должно было сойтись вместе, чтобы мы были живы теми частями нашей души, которые жаждут жизни. Скольким частям нашей души должно было повезти, чтоб каждый раз они случайно встретились именно с тем, что им нужно в данный момент и в данном месте? Это же невозможно! Ведь чаше всего, не имея ни сил, ни времени, ни места, чтобы прожить какое-то никому никакого зла не приносящее чувство, осуществить никому никакого зла не приносящее желание — но неуместное, — мы это желание или чувство в себе убиваем. Мы не реализуем их. Значит, мы не живем? В строгом смысле слова «жизнь как таковая» — невозможная вещь, и если она случается, это — чудо, большое чудо. Отсюда и начинается мысль, или философия, то есть мысль рождается из удивления такого рода вещам — мыслью не называется исчисление; например, если я написал «два» и «два», а затем подумал «два плюс два — четыре», то это не мысль.

К такого же рода невозможностям относится любовь. Ну кто может привести пример вполне бескорыстной любви? Мы любовью называем любовь безоглядную, бескорыстную и так далее. Если это — любовь человеческая, к ней всегда примешиваются другие мотивы. К такому же роду явлений (жизнь, я сказал, в строгом смысле невозможна, хотя случается) относится и сама мысль, чистая мысль. Я сказал, что мысль вырастает из удивления. Например, удивиться невозможной жизни, тому, что она все-таки есть, и думать об этом — это и есть мысль. В этой мысли отсутствуешь ты, то есть она есть такое твое состояние, посредством которого ты себя не прославляешь, не

украшаешь, не компенсируешь в себе недостатки, не прицепляешь себе павлиньего хвоста или павлиньего пера, не изживаешь некое другое чувство, не наказываешь кого-нибудь другого, не соперничаешь с кем-нибудь и так далее. Посмотрите, сколько в истории мысли таких мыслей, где вы отчетливо увидите, что это не мысли, а способы, посредством которых те или иные люди, конкретные люди, изживали некие существовавшие в них, совершенно независимо возникшие до самой мысли состояния души. Просто через мысль канализировалось нечто заранее заданное: комплекс, переживание, зависть, гнев, претензии к миру, желание самоутверждения, желание дополнить себя, чем-то компенсироваться.

Если есть мысль, то она может быть только чистой мыслью, а чистая мысль в человеческих руках — невозможная вещь. Можно привести десятки примеров из истории мысли, в которых ясно читается, что человек мыслил не по содержанию мысли, а по механизму, внешнему этому содержанию.

Есть прекрасное письмо Платона, одно из его семи знаменитых писем, которые периодически то считались неautéтичными письмами, фальшивками, то признавались подлинными. В конце концов возобладала точка зрения, что большинство этих писем действительно написано Платоном; во всяком случае, доказано, что седьмое письмо принадлежит ему. Оно написано Дионисию, тирану Сиракуз¹. Платон ожидал покровительства Дионисия в надежде на помощь в построении идеального государства. Взаимоотношения тирана и Платона были довольно сложные, менялись от любви до ненависти, тиран даже пытался продать Платона в рабство. Письмо относится к тому эпизоду, когда до Платона дошли слухи, что Дионисий распространял некие политические трактаты, в которых он излагал идеи о государстве и ссылался на то, что эти идеи якобы являются развитием идей Платона о государстве. В письме Платона есть потрясающие и очень знаменательные слова. И в этих

¹ Седьмое письмо написано не тирану Дионисию (оно начинается с обращения: «Платон родственникам и друзьям Диона желает благополучия», то есть именно к этим друзьям и родственникам Диона, друга Платона, обращено письмо), однако речь в нем идет о Дионисии и об обстоятельствах их с Платоном драматических отношений.

словах есть два пункта: один, о котором я уже говорил, и другой, о котором я скажу.

Платон говорит так: в том, как вы пишете, ясно видно, что это пишет человек, который хочет показать себя мыслителем и писателем (вспомните, что я говорил перед этим), приобрести славу, а не *вспомнить*. Потрясающее словосочетание. Никто из вас и никакой читатель не ожидал бы, что здесь вдруг выскочит это последнее слово. Я не употреблял это слово, когда перечислял разные внешние мышлению механизмы, которые заменяют мысль: когда мысль служит украшением, когда человек пользуется мыслью для прославления себя и, следовательно, не мыслит. И вдруг Платон расшифровывает, что значит не мыслить, — не мыслить означает не вспоминать; мыслить означает мыслить, чтобы вспомнить, то есть совершать некий акт, чтобы вспомнить. Пометим это парадоксальное столкновение неожиданных терминов, это парадоксальное выскакивание слова «вспомнить» в неожиданном, но интересном контексте.

А дальше — тот второй пункт, который я обещал. Платон говорит интересную вещь: у человека, который мыслит для украшения себя мыслью и прославления, а не для того, чтобы вспомнить, не может быть ссылок на какие-то якобы писания Платона по одной простой причине — о том, что есть идеальное государство, и о том, о чем мыслит Платон, не может быть в принципе ничего написанного. Повторяю: о том, о чем в действительности мыслит Платон — а идеальное государство есть предмет действительного мышления, — не может быть ничего написанного, поэтому ссылаться на написанное об идеальном государстве нельзя. Платон хочет сказать, что о предмете действительной мысли вообще ничего написать нельзя — мысль нельзя выразить письмом, мысль невыразима¹.

¹ Эта мысль в седьмом письме Платона выражена так: «Вот что вообще я хочу сказать обо всех, кто уже написал или собирается писать и кто заявляет, что они знают, над чем я работаю, так как либо были моими слушателями, либо услыхали об этом от других, либо, наконец, дошли до этого сами: по моему убеждению, они в этом деле совсем ничего не смысят. У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя питает». См.: *Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3. СПб., 2007. С. 583.*

Так мы снова пришли к невозможности мысли, снова зачислили ее в ряд метафизических невозможностей. Странно, конечно, иметь дело с невозможностями — с невозможностями вообще не надо иметь дело: если мы знаем, что нечто невозможно, то это надо просто бросать. Но с невозможностями необходимо иметь дело хотя бы потому, что по дороге к невозможному только и можно нечто иметь. Если вы помните, идеал сверхчеловека у Ницше обозначает простую вещь: только стремясь быть сверхчеловеком, мы становимся хотя бы людьми. Хотя бы поэтому имеет смысл кружиться вокруг того, что мы знаем в качестве невозможного. Это относится и к невозможной любви. Скажем, Данте прекрасно знал о невозможности человеческой любви и реализовывал высшую степень человеческой любви, заменив даму Беатриче дамой Философией. То же самое сделал Петрарка, и когда один из римских пап предложил ему помочь в женитьбе на его (Петрарки) возлюбленной, он разумно отказался. Он понимал, что неизвестно, кто кого сожжет, и предпочел стихи, но не в том смысле, что он любил стихи. Человеческий язык нас подводит. У нас есть те слова, которые есть; я уже говорил, что в каждый данный момент есть все слова и только те слова, которые есть, поэтому мысль выразить невозможно.

Например, Кант заметил, что все дело в том, что Петрарка любил стихи. Но Кант говорил это в определенном контексте; а не понимая контекста, взяв только слова, что мы понимаем? Что Петрарка любил кропать стихи. Большинство из нас понимает так, что любить стихи — это любить писать стихи, но здесь не об этом идет речь. Ну как объяснить тот вид целомудрия, который боится разрушить соприкосновением со случайностями потока жизни то, что может существовать только в поэтическом виде, и который вовсе не похож на то, что человек любит уединяться в кабинете, закрываться от жизни и писать. Петрарка не был писарем, который любил выводить на бумаге строчки, вместо того чтобы жить. Его стихи и были для него реальной жизнью и реальной любовью, более реальной, чем та, другая любовь. Приведенный пример похож на иные случаи. В Евангелии — пример покажется произвольным, но он похож на то, что по традиции называется опасными состояния-

Содержание

| | |
|---------------------------------|-----|
| От редактора | 5 |
| Беседа первая | 7 |
| Беседа вторая | 24 |
| Беседа третья | 38 |
| Беседа четвертая | 62 |
| Беседа пятая | 83 |
| Беседа шестая | 102 |
| Беседа седьмая | 121 |
| Беседа восьмая | 142 |
| Беседа девятая | 163 |
| Беседа десятая | 183 |
| Беседа одиннадцатая | 202 |
| Беседа двенадцатая | 216 |
| Беседа тринадцатая | 237 |
| Беседа четырнадцатая | 255 |
| Беседа пятнадцатая | 277 |
| Беседа шестнадцатая | 298 |
| Беседа семнадцатая | 319 |
| Беседа восемнадцатая | 340 |
| Беседа девятнадцатая | 360 |
| Беседа двадцатая | 380 |
| Беседа двадцать первая | 400 |
| Беседа двадцать вторая | 417 |
| Беседа двадцать третья | 436 |
| Беседа двадцать четвертая | 457 |

Мамардашвили М.

М 22 Беседы о мышлении / Мераб Мамардашвили. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 480 с. — (Новый культурный код).

ISBN 978-5-389-15345-5

В настоящую книгу выдающегося мыслителя Мераба Константиновича Мамардашвили вошел курс лекций под названием «Беседы о мышлении», прочитанный студентам Тбилисского государственного университета в 1986–1987 гг.

«Беседы о мышлении» — это беседы о философии, рассматриваемой автором не в качестве академической дисциплины, а в качестве того акта, который может совершаться в общечеловеческих жизненных ситуациях, акта мысли как события в мире. Такое понимание мышления предполагает обращение внимания на самый трудноуловимый слой мысли, который тем не менее составляет основу ее включенности в реальные процессы движения и установления смысла человеческой жизни и истории — а именно на образный, или символический, слой мышления; в этом аспекте рассматриваются также некоторые социальные и культурные процессы и события.

УДК 1/14
ББК 87

Литературно-художественное издание

МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ МАМАРДАШВИЛИ
БЕСЕДЫ О МЫШЛЕНИИ

Ответственный редактор Кирилл Красник

Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.

Технический редактор Татьяна Тихомирова

Компьютерная верстка Светланы Шведовой

Корректоры Станислава Кучепатова, Елена Терскова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 22.11.2018. Формат издания 60 × 90 $\frac{1}{16}$.

Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 30.

Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака АЗБУКА®

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-KNN-23724-01-R